



ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

ВРЕМЯ, БЕССТРАШНЫЙ ХУДОЖНИК...

В наше прагматичное
время стихи Левитанского
просто спасительны...
Тыходишь в их особый
мир, в котором хочется
проживать и оттуда
не хочется уходить...

Елена Камбурова

- Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю, что все это следует шить.



Юрий Давыдович Левитанский

Время, бесстрашный художник...

Серия «Азбука-поэзия»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67970622
Время, бесстрашный художник...: Азбука; СПб; 2022
ISBN 978-5-389-21898-7

Аннотация

Юрий Левитанский, советский и российский поэт и переводчик, один из самых тонких лириков XX века, родился в 1922 году на Украине. После окончания школы поступил в знаменитый тогда ИФЛИ – Московский институт философии, литературы и истории. Со второго курса добровольцем отправился на фронт, участвовал в обороне Москвы, с 1943 года регулярно печатался во фронтовых газетах. В послевоенное время выпустил несколько поэтических сборников, занимался переводами. Многие стихи Леви танского – «акварели душевных переживаний» (М. Луконин) – были положены на музыку и стали песнями, включая знаменитый «Диалог у новогодней елки», прозвучавший в фильме «Москва слезам не верит». Поворотным пунктом в творчестве поэта стала книга стихов «Кинематограф» (1970), включенная в это издание, которая

принесла автору громкую славу. Как и последующие сборники «День такой-то» (1976) и «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом» (1981), «Кинематограф» был написан как единый текст, построенный по законам музыкальной композиции. Завершают настоящее издание произведения из книги «Белые стихи» (1991), созданной в последние годы жизни и признанной одной из вершин творчества Юрия Левитанского.

Содержание

Кинематограф (1970)	8
Вступление в книгу	8
Время слепых дождей. Фрагменты сценария	11
Время, бесстрашный художник...	14
Воспоминанье об оранжевых абажурах	17
Взаимосвязи	19
«Музыка, свет неближний...»	21
Иронический человек	23
«Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь...»	25
Воспоминанье о костеле	28
Как показать лето	30
Сон о забытой роли	32
«Собирались наскоро...»	35
Воспоминанье о куске сала	36
«Горящими листьями пахнет в саду...»	39
Время улетающих птиц. Фрагменты сценария	41
«Я медленно учился жить...»	44
Воспоминанье о дороге	46
Квадратный человек	48
«Листья мокли под окном...»	50
«Живешь, не чувствуя вериг...»	52
Воспоминанье о Марусе	54
Как показать осень	55

Сон о рояле	58
«Эта тряска, эта качка...»	62
Воспоминанье о красном снеге	64
«Темный свод языческого храма...»	66
«Сколько нужных слов я не сказал...»	68
Время зимних метелей	70
Новый год у Дуная	73
Воспоминанье о Нибелунгах	75
Дети	77
Старая женщина с авоськой	79
«Завидую, кто быстро пишет...»	81
Воспоминанье о дождевых каплях	83
Как показать зиму	85
Диалог у новогодней елки	87
Воспоминанье о скрипке	89
«Была зима, как снежный перевал...»	91
Сон о дороге	94
Тревожное отступление	97
Второе тревожное отступление	100
Время раскрывающихся листьев. Фрагменты сценария	103
Воспоминанье о шарманке	106
«Еще апрель таился у запруд...»	108
Птицы	110
Человек с транзисторным приемником	112
Воспоминанье о санках	114

Как показать весну	116
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Юрий Левитанский

Время, бесстрашный

художник...

© Ю. Д. Левитанский (наследники), 2022

© М. Н. Пазий, фото, 2022

© В. Ф. Плотников, фото, 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

Кинематограф (1970)

Вступление в книгу

Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.
А потом в стене внезапно загорается окно.
Возникает звук рояля. Начинается кино.
И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной.
Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной!
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса
заставляет меня плакать и смеяться два часа,
быть участником событий, пить, любить, идти на дно...
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
Он актеру не прощает плохо сыгранную роль –
будь то комик или трагик, будь то шут или король.
О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом
два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно...
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты

от нехватки ярких красок, от невольной немоты.
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва
выразительностью жестов, заменяющих слова.
И спешат твои актеры, всё бегут они, бегут –
по щекам их белым-белым слезы черные текут.
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Ты накапливаешь опыт, и в течение этих лет,
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно...

Жизнь моя, начальный возраст,
детство нашего кино!
А потом придут оттенки, а потом полутона,
то уменьье, та свобода, что лишь зрелости дана.
А потом и эта зрелость тоже станет в некий час
детством, первыми шагами тех, что будут после нас
жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на
дно...

Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак – старый зритель, я готов
занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед камерой стою,

даже тем, что не играю, я играю роль свою.

И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,
как сплетается с другими эта тоненькая нить,
где уже мне, к сожалению, ничего не изменить,
потому что в этой драме, будь ты шут или король,
дважды роли не играют, только раз играют роль.

И над собственной ролью плачу я и хохочу.

То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.

То, что видел, с тем, что знаю, помоги
связать в одно,

жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Время слепых дождей.

Фрагменты сценария

Вот начало фильма.
Дождь идет.
Человек по улице идет.
На руке – прозрачный дождевик.
Только он его не надевает.
Он идет сквозь дождь не торопясь,
словно дождь его не задевает.
А навстречу женщина идет.
Никогда не видели друг друга.
Вот его глаза.
Ее глаза.
Вот они увидели друг друга.
Летний ливень. Поздняя гроза.
Дождь идет,
но мы не слышим звука.
Лишь во весь экран – одни глаза,
два бездонных,
два бессонных круга,
как живая карта полушарий
этой неустроенной планеты,
и сквозь них,
сквозь дождь,
неторопливо

человек по улице идет,
и навстречу женщина идет,
и они
увидели друг друга.
Я не знаю,
что он ей сказал,
и не знаю,
что она сказала,
но —
они уходят на вокзал.
Вот они под сводами вокзала.
Скорый поезд их везет на юг.
Что же будет дальше?
Будет море.
Будет радость
или будет горе —
это мне неизвестно пока.
Место службы,
месячный бюджет,
мненья,
обсужденья,
сожаленья,
заявления
в домоуправленье —
это все не входит в мой сюжет.
А сюжет живет во мне и ждет,
требуется развития,
движенья.
Бьюсь над ним

до головокруженья,
но никак не вижу продолженья.
Лишь начало вижу.
Дождь идет.
Человек по улице идет.

Время, бесстрашный художник...

Время, бесстрашный художник,
словно на белых страницах,
что-то все пишет и пишет
на человеческих лицах.

Грифелем водит по коже.
Перышком тоненьким – тоже.
Острой иглою гравера.
Точной рукою гримера...

Таинство света и тени.
Стрелы, круги и квадраты.
Ранние наши потери.
Поздние наши утраты.

Черточки нашего скотства.
Пятна родимые страха.
Бремя фамильного сходства
с богом и с горсточкой праха.

Скаредность наша и щедрость.
Суетность наша и тщетность.
Ханжество или гордыня.
Мужество и добродетель...

Вот человек разрисован
так, что ему уже больно.
Он уже просит:
— Довольно,
видишь, я весь разрисован!

Но его просьбы не слышит
правды взыскующий мастер.
Вот он отбросил фломастер,
тоненькой кисточкой пишет.

Взял уже перышко в руку —
пишет предсмертную муку.
Самый последний штришочек.
Малую черточку только...

Так нас от первого крика
и до последнего вздоха
пишет по-своему время
(эра, столетье, эпоха).

Пишет в условной манере
и как писали когда-то.
Как на квадратной фанере
пишется скорбная дата.

Отсветы. Отблески. Блики.
Пятна белил и гуаши.
Наши безгрешные лики.

Лица греховные наши...

Вот человек среди поля
пал, и глаза опустели.
Умер в домашней постели.
Выбыл из вечного боя.

Он уже в поле не воин.
Двинуть рукою не волен.
Больше не скажет:
– Довольно! –
Всё. Ему больше не больно.

Воспоминанье об оранжевых абажурах

В этом городе шел снег,
и светились оранжевые абажуры,
в каждом окне
по оранжевому абажуру.

Я ходил по улицам
и заглядывал в окна.

В этот город я вернулся с войны,
у меня было все впереди,
не было лишь квартиры,
комнаты,
угла,
крова.

Снова и снова
ходил я по улицам
и заглядывал в окна.

Под оранжевыми абажурами
люди пили свой чай
с послевоенным пайковым хлебом.
Оранжевые абажуры были моей мечтой,
символом
всей несправедливости мира,
в котором,
как мне казалось,

лишь у меня одного
не было никакого пристанища,
комнаты,
угла,
крова.

У меня было все впереди,
все впереди настолько,
что я не мог оценить размеров
своего богатства.

– Скажите, пожалуйста, –
спрашивал я, –
здесь не сдаётся угол? –

А в городе шел снег,
и светились оранжевые абажуры,
оранжевые тюльпаны
за тюлевой шторкой метели,
оранжевая кожура мандаринов
на новогоднем снегу.

Взаимосвязи

Слепому гневу солнечной короны
подвластны наши ливни и ветра.
А к ливню ломит кости у вороны,
и оттого орет она с утра.

Все бабочки, кузнечики и мухи,
гиена, антилопа или тур
испытывают дьявольские муки
от разницы дневных температур.

Но странно, что и мы,
цари природы,
творенья совершенные богов,
зависим от превратностей погоды
не меньше мух, жуков и пауков.

Что столбик атмосферного давления
таранит наши мощные тела,
и действуют небесные явления
на наши повседневные дела.

И мы следим
за сменой ненастий,
морозов, снегопадов и дождей
не меньше, чем за сменой династий,

парламентов, правительств и вождей.

Как странно знать,
что в некий день весенний
на части разрываются сердца
из-за каких-то слабых сотрясений,
случившихся в созвездии Стрельца.

Что я могу испытывать страдание
и жизнь моя мне кажется пуста
лишь оттого, что где-то в мироздании
погасла безымянная звезда.

Что и моя когда-нибудь дорога
внезапно оборвется оттого,
что где-нибудь в созвездье Козерога
небесное распалось вещество.

«Музыка, свет неближний...»

Музыка, свет неближний,
дождь, на воде круги.
Музыка, третий лишний,
что же ты, ну, беги!

Выдохлась? Притомилась?
Хочешь не хочешь – пой?
Музыка, сделай милость,
очередь за тобой.

С каждою перебежкой –
дождь, на воде круги.
Музыка, ну, не мешкай,
музыка, ну, беги!

Не дожидаясь зова,
не выбирая дня,
круг беги
и снова
встань впереди меня.

Да не сочтем за муку
этот,
из века в век,
по роковому кругу

за мороженый бег.

Этот смиренный пафос
и молчаливый зов
перемещения пауз,
звуков и голосов.

Это чередование
флейты и бубенца.
Это очарование
дудочки и скворца.

Это –
сплетенье выюги
с песенкою дрозда.
Это –
синицей в руки
выпавшая звезда.

Это –
звезда и полночь,
дождь, на воде круги.
Этот призыв на помощь –
музыка, помощи!

Иронический человек

Мне нравится иронический человек.
И взгляд его, иронический, из-под век.
И черточка эта тоненькая у рта –
иронии отличительная черта.

Мне нравится иронический человек.
Он, в сущности, – героический человек.
Мне нравится иронический его взгляд
на вещи, которые вас, извините, злят.

И можно себе представить его в пенсне,
листающим послезавтрашний календарь.
И можно представить в его письме
какое-нибудь старинное – милсударь.

Но зря, если он представится вам шутом.
Ирония – она служит ему щитом.
И можно себе представить, как этот щит
шатается под ударами и трещит.

И все-таки
сквозь трагический этот век
проходит он, иронический человек.
И можно себе представить его с мечом,
качающимся над слабым его плечом.

Но дело не в том – как меч у него остер,
а в том – как идет с улыбкою на костер
и как перед этим он произносит:

– Да,
горячий денек – не правда ли, господа!

Когда же свеча последняя догорит,
а пламень небес едва еще лиловат,
смущенно – я умираю – он говорит,
как будто бы извиняется – виноват.

И можно себе представить смиренный лик,
и можно себе представить огромный рост,
но он уходит так же прост и велик,
как был за миг перед этим велик и прост.

И он уходит –
некого, мол, корить –
как будто ушел из комнаты покурить,
на улицу вышел воздухом подышать
и просит не затрудняться, не провожать.

«Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь...»

Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь.
Стрелки, цифры, циферблаты – сутки прочь.

Гири, маятники, цепи, медный гуд.
Все торопятся куда-то, все бегут.

На ходу махнуть рукою, крикнуть «будь!»,
Съесть сосиску на ходу и снова в путь.

Сдать багаж, и в самолет, и в облака.
– Как там наши? – как там ваши? – ну, пока!

Гири, цепи, шестеренки, медный звон.
Телеграмма – вместо писем – телефон,

телефонные кабины – о стекло
стук монеты – ваше время истекло!

Нету времени присесть, поговорить,
покалякать, покумекать, покурить.

Нету времени друг друга пожалеть,
от несчастья от чужого ошалеть.

Даже выслушать друг друга – на бегу –
нету времени – приедешь? – не могу!

На автобус, на троллейбус, в этот гон,
в эту гонку, в переполненный вагон,

то в обгон, а то вдогонку – на ходу –
в эту давку, суматоху, чехарду,

в автогонку, в мотогонку, в нету мест,
в не толкайтесь, переулками, в объезд,

и в затор у светофора – как в тупик...
Что за время? Наше время, время пик.

Только выхлопы бензина, дым и чад.
Только маятники медные стучат.

Только стрелки сумасшедшие бегут.
Стрелки, цифры, циферблаты, медный гуд.

Словно мир этот бессонный городской
стал огромной часовой мастерской,

часовой мастерскою, где со стен –
циферблаты всех фасонов и систем,

где безумные живут часовщики.

Спать ложишься – ходят стрелки у щеки.

Стрелки, цифры, циферблаты, медный зов.
Засыпаешь под тиктаканье часов.

И летишь под этим небом грозовым –
как на бомбе с механизмом часовым.

Воспоминанье о костеле

Костел назывался
именем святой Анны,
а может быть, как-то иначе.
Я шел туда ночью,
по полю,
по черной пахоте,
ночь была черной,
и можно было идти не иначе,
как перебирая рукою
невидимую нитку провода,
натянутого связистами, –
жесткий провод
скользил между пальцами и ладонью,
обдирая ее до крови.

В костеле
был наблюдательный пункт
наших артиллеристов.
Стоял полусумрак,
горели свечи,
и еще был какой-то свет,
и кто-то упорно и долго
играл одним пальцем
на старинном органе,
выжимая из него по капле
грустный какой-то мотивчик.

Начало артподготовки
было назначено на шесть ноль-ноль.
Постепенно светало,
и на стенах костела
оживали старинные фрески,
а в левом приделе,
у входа,
на черном огромном кресте
печально и кротко светились
глаза Иисуса
и проступали
темные пятна крови,
нарисованной густо на руках и ногах
в тех местах,
куда были вколочены гвозди –
дюймов, наверно, в десять-двенадцать,
огромные черные гвозди, –
неожиданно бытовая подробность
в этом зыблющемся воспоминанье,
где все так призрачно
и нереально.

Как показать лето

Фонтан в пустынном сквере будет сух,
и будет виться тополиный пух,
а пыльный тополь будет неподвижен.
И будет на углу продажа вишен,
торговля квасом
и размен монет.
К полудню
на киоске «Пиво – воды»
появится табличка «Пива нет»,
и продавщица,
мучась от зевоты,
закроет дверь киоска на засов.
Тут стрелка электрических часов
покажет час,
и сразу полвторого,
и резко остановится на двух.
И все вокруг замрет,
оцепенеет,
и будет четок тополиный пух,
как снег на полотне монументальном.
И, как на фотоснимке моментальном,
недвижно будет женщина стоять,
и, тоненький мизинец оттопырив,
держат у самых губ стакан воды
с застывшими

недвижно

пузырьками.

И так же

за табачными ларьками

недвижна будет очередь к пивной.

Но тут ударит ливень проливной,

и улица мгновенно опустеет,

и женщина упрячется в подъезд,

где очень скоро ждать ей надоест,

и, босоножки от воды спасая,

она помчит по улице

босая,

и это будет главный эпизод,

где женщина бежит,

и босоножки

у ней в руках,

и лужи в пузырях,

и вся она от ливня золотится.

Но так же резко ливень прекратится,

и побежит по улице толпа,

и тополя засветится вершина,

и в сквере заработает фонтан,

проедет поливальная машина,

в окно киоска будет солнце бить,

и пес из лужи будет воду пить.

Сон о забытой роли

Мне снится, что в некоем зале,
где я не бывал никогда,
играют какую-то пьесу.
И я приезжаю туда.

Я знаю, что скоро мой выход.
Я вверх по ступеням бегу.
Но как называется пьеса,
я вспомнить никак не могу.

Меж тем я решительно знаю
по прихоти сна моего,
что я в этой пьесе играю,
но только не помню — кого.

Меж тем я отчетливо помню —
я занят в одной из ролей.
Но я этой пьесы не знаю
и роли не помню своей.

Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.

Там, кажется, ловят кого-то.
И смута стоит на Руси.
И кто-то взывает:
– Марина,
помилуй меня и спаси!

И кажется, он самозванец.
И кто-то торопит коней.
Но я этой пьесы не знаю.
Я даже не слышал о ней.

Не знаю, не слышал, не помню.
В глаза никогда не видал.
Ну разве что в детстве когда-то
подобное что-то читал.

Ну разве что в давние годы,
когда еще школьником был,
учил я подобное что-то,
да вскоре, видать, позабыл.

И должен я выйти на сцену
и весь этот хаос облечь
в поступки, движенья и жесты,
в прямую и ясную речь.

Я должен на миг озариться
и сразу,
шагнув за черту,

какую-то длинную фразу
легко подхватить на лету.

И сон мой все время на грани,
на крайнем отрезке пути,
где дальше идти невозможно,
и все-таки надо идти.

Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.

Я все еще медлю и медлю.
Но круглый
оранжевый свет
ко мне подступает вплотную,
и мне уже выхода нет.

«Собирались наскоро...»

Собирались наскоро,
обнимались ласково,
пели, балагурили,
пили и курили.
День прошел – как не было.
Не поговорили.

Виделись, не виделись,
ни за что обиделись,
помирились, встретились,
шуму натворили.
Год прошел – как не было.
Не поговорили.

Так и жили – наскоро,
и дружили наскоро,
не жалея тратили,
не скупясь дарили.
Жизнь прошла – как не было.
Не поговорили.

Воспоминанье о куске сала

Правый берег реки
возвышался над нашим,
над левым,
и мы сейчас были как на ладони
на нашем отлогом,
песчаном,
у этой реки,
где редкая птица
долетает до середины,
и нас засекли у самой воды,
и снаряды стали ложиться
ближе,
и мы побежали —
мы добежали
до первой воронки
и нырнули в нее,
и снаряд разорвался рядом,
немного не долетев,
а потом позади
и справа,
и песок нас слегка присыпал,
и надо было бежать,
и тогда
один из нас вытащил сало
из кармана шинели,

и мы стали есть его
жадно и торопливо,
хотя надо было бежать.
Сало было розовым и соленым,
веснушчатым и конопатым
от песка и махорки,
мы ели его жадно и торопливо,
почти проглотили,
и тогда мы выскочили
и побежали,
и пробежали совсем немного,
когда снаря
наконец
угодил
в ту спасительную воронку,
где мы перед тем сидели.
Сало было розовое,
как младенец,
розовое и веснушчатое,
как наш старшина после бани,
этакий рыжий верзила
с нахальной ухмылкой,
некто хохочущий,
некто ликующе розовощекий,
этакий улыбающийся
господин в цилиндре,
некий факир
по имени Сало,
господин Сало,

ах, господин Сало...

«Горящими листьями пахнет в саду...»

Горящими листьями пахнет в саду.

Прощайте,
я больше сюда не приду.

Дымится бумага,
чернеют листья.
Сжигаю мосты.

Чернеют листья,
тяжелеет рука.
Бикфордовым шнуром
дымится строка.
Последние листья,
деревья пусты.
Сжигаю мосты.

Прощайте,
прощальный свершаю обряд.
Осенние листья,
как порох,
горят.
И капли на стеклах,
как слезы,
чисты.

Сжигаю мосты.

Я больше уже не приду в этот сад.

Иду,

чтоб уже не вернуться назад.

До ранней,

зеленой,

последней звезды

сжигаю мосты.

Время улетающих птиц.

Фрагменты сценария

Южный город. Море и песок.
Берег пляжей. Выжженная зона.
Остаются считанные дни
до конца курортного сезона.
Человек,
распятый на песке.
Он сейчас похож на Робинзона.
Человек,
лежащий у воды,
не спеша песок ладонью роет,
на песке
песочный домик строит,
крепость воздвигает на песке.
В это время женщина приходит,
по песку ступая, как по морю.
Женщина с мужчиной на песке,
но мы видим –
женщина уходит,
по песку ступая, как по морю.
Женщина с мужчиной на песке,
но уходит женщина,
уходит.
Час проходит

или день проходит –
женщина с мужчиной на песке,
и все дальше женщина уходит.
Человек чего-то еще ждет.
Он еще надеется на что-то.
Но едва он открывает рот,
слышен трубный голос парохода,
голос проходящих поездов,
гул вокзала
и аэродрома,
цирка,
стадиона,
ипподрома
и еще каких-то людных сборищ
слившиеся в грохот голоса.
И уходит,
медленно уходит
вдаль береговая полоса,
и мы видим сверху –
с самолета,
с вертолета,
с птичьего полета –
по бескрайней выжженной пустыне
маленькая женщина идет.
И тогда возникнет панорама
множества экранов,
циркорама –
на ступенях рухнувшего храма
маленькая женщина стоит

у подножья каменного Будды,
и мы видим —
каменного Будды
каменные жесткие глаза,
а потом отдельно —
южный город,
берег пляжей,
море и песок
и отдельно —
хроники старинной
некий завершающий кусок,
и как смесь пролога с эпилогом
будут в заключительном куске
очертанья рухнувшей Помпеи,
след полузабытой эпопеи,
домик, возведенный на песке.

«Я медленно учился жить...»

Я медленно учился жить.
Учение трудно мне давалось.
К тому же часто удавалось
урок на после отложить.

Полжизни я учился жить,
и мне за леность доставалось, —
но ведь полжизни оставалось,
я полагал —
куда спешить!

Я невнимателен бывал —
то забывал семь раз отмерить,
то забывал слезам не верить,
урок мне данный забывал.

И все же я учился жить.
Отличник — нет, не получился.
Зато терпению научился,
умению жить и не тужить.

Я поздно научился жить.
С былою ленью разлучился.
Да правда ли,
что научился,

как надо научился жить?

И сам плечами лишь пожмешь,
когда с утра забудешь снова
не выкинуть из песни слова,
и что посеешь, то пожнешь.

И снова, снова к тем азам,
в бумагу с головой заройся.
– Сезам, – я говорю, – откройся!..
Не отворяется Сезам.

Воспоминанье о дороге

Дорога была минирована,
но мы это поняли
слишком поздно,
и уже не имело смысла
возвращаться обратно,
и мы решили идти
дальше,
на расстоянии друг от друга,
я впереди,
он сзади,
а потом менялись местами.
Мы ступали осторожно,
кое-где
мины выглядывали из-под снега,
темные коробочки,
припорошенные снегом,
такие безобидные с виду.
Мы ступали осторожно,
след в след,
мы вспотели,
хотя мороз был что надо,
и сердце замирало,
останавливалось
и начинало стучать
не прежде,

чем нога опиралась на твердое,
и тогда стучало в висках,
и вновь замирало
перед следующим шагом.
Потом повалил снег,
потом слышались взрывы
и крик:
— Ложись! так вашу так! —
а дальше,
дальше ничего не помню,
только дорога,
и сердце замирает,
и останавливается,
и начинает стучать
не прежде,
чем нога обопрется на твердое,
и снова стучит в висках,
и вновь замирает
перед следующим шагом.

Квадратный человек

Как полуночный вздор,
как на голову снег –
мой грозный командор,
мой черный человек –
как поздний вестовой
по гулкой мостовой –
квадратный человек
с квадратной головой.

Квадратное лицо.

Квадратные очки.

Квадратные глаза.

Квадратные зрачки.

И челюсти во рту
гремят, как жернова,
когда он говорит
квадратные слова.

Квадратный человек,
сам черт ему не брат.

В саду его растет
квадратный виноград.

И явственно видна,
пока он говорит,
квадратная луна
в глазах его горит.

О, этот человек,

он выпрямить готов
округлости полей,
округлости прудов,
и возвести в квадрат –
и возвести стократ –
квадрат своих затрат,
квадрат своих оград.
Квадратный человек,
мой грозный командор,
мой прошлогодний снег,
мой полуночный вздор,
нелепое звено
из рода небылиц, –
и все-таки одно
из действующих лиц.
И по спине сквозит
нездешним холодком,
когда он мне грозит
квадратным кулаком.

«Листья мокли под окном...»

Листья мокли под окном,
намокали...
— Дело к осени идет! —
намекали.

Протрубили журавли,
пролетели,
прокричали про снега,
про метели.

Эти голые поля,
эти дали
тоже мнение журавлей
подтверждали.

Только зрелые плоды,
тяжелея,
наливались, ни о чем
не жалея.

Да и мы с тобою, друг,
не тужили,
в камельке своем огонь
не тушили.

Хоть и видели, что день
убывает,
говорили: – Ничего!
Все бывает!

«Живешь, не чувствуя вериг...»

Живешь, не чувствуя вериг,
живешь – бежишь туда-сюда.
– Ну как, старик? – Да так, старик!
Живешь – и горе не беда. –
Но вечером,
но в тишине,
но сам с собой наедине,
когда звезда стоит в окне,
как тайный соглядатай,
и что-то шепчет коридор,
как ростовщик и кредитор,
и въедливый ходатай...

Живешь, не чувствуя вериг,
и все на свете трын-трава.
– Ну как, старик? – Да так, старик!
Давай, старик, качай права! –
Но вечером,
но в тишине,
но сам с собой наедине,
когда звезда стоит в окне,
как тайный соглядатай...

Итак – не чувствуя вериг,
среди измен, среди интриг,

среди святых, среди расстриг,
живешь – как сдерживаешь крик.
Но вечером,
но в тишине...

Воспоминанье о Марусе

Маруся рано будила меня,
поцелуями покрывала,
и я просыпался на ранней заре
от Марусиных поцелуев.
Из сада заглядывала в окно
яблонева ветка,
и яблоко можно было сорвать,
едва протянув руку.
Мы срывали влажный зеленый плод,
надкусывали и бросали –
были августовские плоды
терпки и горьковаты.
Но не было времени у нас, чтобы ждать,
когда они совсем поспеют,
и грустно вспыхивали вдалеке
лейтенантские мои звезды.
А яблоки поспевали потом,
осыпались, падали наземь,
и тихо по саду она брела
мимо плодов червонных.
Я уже не помню ее лица,
не вспомню, как ни стараюсь.
Только вкус поцелуев на ранней заре,
вкус незрелых яблок.

Как показать осень

Еще не осень – так, едва-едва.
Ни опыта еще, ни мастерства.
Она еще разучивает гаммы.
Не вставлены еще вторые рамы,
и тополя бульвара за окном
еще монументальны, как скульптура.
Еще упруга их мускулатура,
но день-другой –
и все пойдет на спад,
проявится осенняя натура,
и, предваряя близкий листопад,
листва зашелестит, как партитура,
и дождь забарабанит невпопад
по клавишам,
и вся клавиатура
пойдет плясать под музыку дождя.
Но стихнет,
и немного погодя,
наклонностей опасных не скрывая,
бегом-бегом
по линии трамвая
помчится лист опавший,
отрывая
тройное сальто,
словно акробат.

И надпись «Осторожно, листопад!»,
неясную тревогу вызывая,
раскачиваться будет,
как набат,
внезапно загудевший на пожаре.
И тут мы впрямь увидим на бульваре
столбы огня.
Там будут листья жечь.
А листья будут падать,
будут падать,
и ровный звук,
таящийся в листве,
напомнит о прямом своем родстве
с известною шопеновской сонатой.
И тем не мене,
листья будут жечь.
Но дождик уже реже будет течь,
и листья будут медленней кружиться,
пока бульвар и вовсе обнажится,
и мы за ним увидим в глубине
фонарь
у театрального подъезда
на противоположной стороне,
и белый лист афиши на стене,
и профиль музыканта на афише.
И мы особо выделим слова,
где речь идет о нынешнем концерте
фортепианной музыки,
и в центре

стоит – «ШОПЕН, СОНАТА № 2».

И словно бы сквозь сон,

едва-едва

коснутся нас начальные аккорды

шопеновского траурного марша

и станут отдаляться,

повторяясь

вдали,

как позывные декабря.

И матовая лампа фонаря

затеплится свечением несмелым

и высветит афишу на стене.

Но тут уже повалит белым-белым,

повалит густо-густо

белым-белым,

но это уже – в полной тишине.

Сон о рояле

Я видел сон – как бы оканчивал
из ночи в утро перелет.
Мой легкий сон крылом покачивал,
как реактивный самолет.

Он путал карты, перемешивал,
но, их мешая вразнобой,
реальности не перевешивал,
а дополнял ее собой.

В конце концов, с чертами вымысла
смешав реальности черты,
передо мной внезапно выросло
мерцанье этой черноты.

Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.

Рояль был старый, фирмы Беккера,
и клавишей его гряда
казалась тонкой кромкой берега,
а дальше – черная вода.

А берег был забытым кладбищем,
как бы окраиной его,
и там была под каждым клавишем
могила звука одного.

Они давно уже не помнили,
что были плотью и душой
какой-то праздничной симфонии,
какой-то музыки большой.

Они лежали здесь, покойники,
отвоевавшие свое,
ее солдаты и полковники,
и даже маршалы ее.

И лишь иной, сожженный заживо,
еще с трудом припоминал
ее последнее адажио,
ее трагический финал...

Но вот,
едва лишь тризну справивший,
еще не веря в свой закат,
опять рукой коснулся клавишей
ее безумный музыкант.

И поддаваясь искушению,
они построились в полки,
опять послушные движению

его играющей руки.

Забыв, что были уже трупами,
под сенью нотного листа
они за флейтами и трубами
привычно заняли места.

Была безоблачной прелюдия.
Сперва трубы гремела медь.
Потом пошли греметь орудия,
пошли орудия греметь.

Потом пошли шеренги ротные,
шеренги плотные взводов,
линейки взламывая нотные,
как проволоку в пять рядов.

Потом прорыв они расширили,
и пел торжественно металл.
Но кое-где уже фальшивили,
и кто-то в такт не попадал.

Уже все чаще они падали.
Уже на всю вторую часть
распространился запах падали,
из первой части просочась.

И сладко пахло шерстью жженою,
когда, тревогой охватив,

сквозь часть последнюю, мажорную,
пошел трагический мотив.

Мотив предчувствия, предвестия
того, что двигалось сюда,
как тема смерти и возмездия
и тема Страшного суда.

Кончалась музыка и корчилась,
в конце едва уже звеня.
И вскоре там, где она кончилась,
лежала черная земля.

И я не знал ее названия –
что за земля, что за страна.
То, может быть, была Германия,
а может быть, и не она.

Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.

И я, в отчаянье поверженный,
с тоской и ужасом следил
за тем, как музыкант помешанный
опять к роялю подходил.

«Эта тряска, эта качка...»

Эта тряска, эта качка —
ничего в ней нет такого.
Это школьная задачка —
поезд шел из пункта А.
Это маленькая повесть
все о том же — ехал поезд,
ехал поезд, ехал поезд
к пункту Б из пункта А.

Это все куда как просто,
время, скорость, расстояние,
время множится на скорость,
восемь пишем, два в уме.
Дождь и ветер, дым и сажа,
три страницы, два пейзажа,
трубы, церковь, элеватор,
две березки на холме.

Это все куда как просто,
повесть, школьная задачка,
мы свое уже решили,
мы одни уже в купе.
Мы дочитываем повесть,
повесть, школьная задачка,
будка, стрелка, водокачка,

подъезжаем к пункту Б.

Что ж, плати за чай и сахар,
за два ломтика лимона –
вкус лимона,
вкус железа,
колеи двойная нить.
Остается напоследок
три-четыре телефона –
три-четыре телефона,
куда можно позвонить.

Воспоминанье о красном снеге

Я лежал на этом снегу
и не знал,
что я замерзаю,
и лыжи идущих мимо
поскрипывали
почти что у моего лица.
Близко горела деревня,
небо было от этого красным,
и снег подо мною
был красным,
как поле маков,
и было тепло на этом снегу,
как в детстве
под одеялом,
и я уже засыпал,
засыпал,
возвращаясь в детство
под стук пролетки
по булыжнику мостовой,
на веранду,
застекленную красным,
где красные помидоры в тарелке
и золотые шары у крылечка, —
звук пролетки,
цоканье лошадиных подков

по квадратикам
красных булыжин.

«Темный свод языческого храма...»

Темный свод языческого храма.
Склад и неусыпная охрана.

Цепь, ее несобранные звенья.
Зрительная память, память зренья...

Тайный склад и строгая охрана.
Полотно широкого экрана.

Магниевых молний озаренья.
Зрительная память, память зренья...

Но – и полотно киноэкрана
и – незаживающая рана,

и – неутихающая мука
повторенья пройденного круга.

О, необъяснимое стремленье
на мгновенье выхватить из мрака

берег, одинокое строенье,
женский профиль, поле, край оврага,

санки, елку, нитку канители,

абажур за шторкою метели,

стеклышко цветное на веранде,
яблоко зеленое на ветке...

Память зренья, своеволие, прихоть,
словно в пропасть без оглядки прыгать,

без конца проваливаться, падать
в память зренья, в зрительную память,

и копать под черными пластами,
в памяти просеивать, как в сите,

слыша, как под черными крестами –
откопайте! – просят – воскресите!..

Я копаю, день и ночь копаю,
осторожно почву разгребаю,

на лопату опершись, курю,
– Бедный Йорик! – тихо говорю.

«Сколько нужных слов я не сказал...»

Сколько нужных слов я не сказал,
сколько их,
ненужных,
обронил.

Сколько я стихов не написал.
Сколько их до срока схоронил.

Посреди некошенной травы,
в чаще лебеды и лопухов,
шапку сняв с повинной головы,
прохожу по кладбищу стихов.

Ни крестов, ни траурных знамен
в этом месте темном и глухом.
Звездочки стоят вместо имен
по три,
по три,
по три над стихом.

Голова повинная, молчу.
Вглядываюсь в даль из-под руки.
Ставлю запоздалую свечу
возле недописанной строки.

Тихий свет над черною травой.

Полночь неподвижна и тиха.
Кланяюсь повинной головой
праху Неизвестного стиха.

Время зимних метелей

Фрагменты сценария
Посредине фильма снег идет.
Человек по улице идет...
Снег валит на город густо-густо,
снег гребут лопатой с тротуара,
грузят на машины –
и в машинах
за город торжественно везут.
Снег лежит на шапках у прохожих,
на плечах прохожих и на спинах,
и они его неумоимо
на себе по городу несут.
Где-то в этом городе огромном
человек звонит из автомата.
Женщина звонит из автомата
где-то на другом конце земли,
где-то на другом конце Вселенной,
на какой-то улице соседней –
долгие протяжные гудки
в телефонных мечутся кабинах,
в призрачно мерцающих глубинах
долгие протяжные гудки,
как сигналы спутников случайных,
тщетно окликающих друг друга.
Все быстрее,

быстрее вращенье круга,
диски,
телефонные круги,
все быстрее –
диски,
диски,
диски,
бешено вертящиеся диски,
диски,
телефонные круги,
диски – сумасшедшие колеса
паровоза
и электровоза,
электрички
и автомобиля,
диски,
телефонные круги,
диски-бубны,
диски-барабаны,
цирки,
карусели,
балаганы,
диски,
телефонные круги
радиолы
и магнитофона,
в городском саду аттракциона –
чертово вращенье колеса.
Человек звонит из автомата,

женщина звонит из автомата,
вот его глаза,
ее глаза —
два бездонных,
два бессонных круга,
где сейчас неистовствует вьюга,
и сквозь них,
сквозь вьюгу,
сквозь пургу —
два огромных телефонных диска,
два огромных круглых обелиска
на равнине белой, на снегу.

Новый год у Дуная

Камень старинный, башни, мосты, ограды.
Гостеприимны древние эти грады.

Благословенны тихие эти веси.
Колокола воскресные в поднебесье.

Под куполами, золотом, синевою
я с непокрытой шествую головою.

Колокол, солнце, елка стоит, сверкая.
День новогодний – боже, теплынь какая!

День новогодний, теплый, весенний, синий.
А в эту пору снег идет над Россией.

Ветер гудит по нашим великим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Что там за снегом – что он, кого он прячет?
Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет?

Кто там сейчас в лесу над костром колдует,
дует в огонь, в озябшие руки дует?

Господи, дай им солнца, тепла, капли!

Дай, чтоб скорее птицы в лесу запели!

Синью наполни очи лесных проталин!..
К старости, что ли – стал я сентиментален.

Даже не думал, что напишу такое...
Хрустнула ветка где-то в лесном покое.

Скрипнули сани и затерялись в поле.
И никуда не деться от этой боли.

Ветер гудит по северным нашим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Воспоминанье о Нибелунгах

Это было
почти перед самой войной,
мы смотрели немецкий фильм,
Песню о Нибелунгах,
фильм, конечно, немой,
и веселый тапер
из студентов
наяривал лихо на пианино
что-то смешное,
и мы хохотали,
когда белокурый красавец Зигфрид
умывался кровью дракона
под мелодию
популярной в ту пору
спортивной песни.
Мы изучали тогда
немецкое средневековье,
миннезанг,
майстерзанг,
мы любили щегольнуть
каким-нибудь звучным именем,
каким-нибудь Вальтером
фон дер Фогельвейде.
Оставалось несколько месяцев
до начала этой войны,

с которой мы возвращались
долгие годы,
с которой не все мы вернулись,
мы,
от души хохотавшие
над этой отличной шуткой –
Зигфрид
умывается кровью дракона,
умывается
кровью,
ха-ха,
умывается
кровью!

Дети

Дети, как жители иностранные
или пришельцы с других планет,
являются в мир, где предметы странные,
вещи, которым названья нет.

Еще им в диковину наши нравы.
И надо выучить все слова.
А эти звери!
А эти травы!
Ну, просто кружится голова!

И вот они ходят, пометки делая
и выговаривая с трудом:
– Это что у вас? – Это дерево.
– А это? – Птица. – А это? – Дом.

Но чем продолжительнее их странствие –
они ведь сюда не на пару дней –
они становятся все пристрастнее,
и нам становится все трудней.

Они ощупывают переборочки,
они заглянуть стараются за.
А мы их гиды,
их переводчики,

и не надо пыль им пускать в глаза!

Пусть они знают, что неподдельно,
а что только кажется золотым.

– Это что у вас? – Это дерево.

– А это? – Небо. – А это? – Дым.

Старая женщина с авоськой

А вот явление грусти бесконечной,
хотя,
на первый взгляд,
и беспричинной.

На остановке где-нибудь конечной
старушка из автобуса выходит.

Ах, город,
эти новые дома,
керамика,
стекло
и алюминий!

Какая пестрота и легкость линий
в меняющихся контурах его,
какая гамма цветосочетаний!

Здесь для примера я бы показал
Центральный, скажем, аэровокзал
или Дворец
для бракосочетаний,
куда подъехал свадебный кортеж
с девчонкою в одежде подвенечной...

Но вот картина грусти бесконечной,
когда старушка площадь переходит.

Ах, город,
все куда-то он спешит,
торопится на ярмарки,

на рынки,
на свадьбы,
на рожденья,
на поминки,
проглатывая прессу на ходу,
прижав к себе попутные покупки,
нет-нет еще косясь на мини-юбки,
как бы стыдясь,
что снова уличен
в приверженности к моде быстротечной...
Но вот картина грусти бесконечной,
и я едва не плачу в этот миг,
когда старушка площадь переходит,
в скрещенье всех событий мировых
шагает по дорожке пешеходной,
неся свою порожнюю авоську,
где, словно одинокий звук минорный
и словно бы воробушек озябший,
один лежит на донышке
лимон.

«Завидую, кто быстро пишет...»

Завидую, кто быстро пишет
и в благости своей не слышит,
как рядом кто-нибудь не спит,
как за стеною кто-то ходит
всю ночь
и места не находит.
Завидую, кто крепко спит,
без сновидений,
и не слышит,
как рядом кто-то трудно дышит,
как не проходит в горле ком,
как валидол под языком
сосулькой мартовскою тает,
а все дыханья не хватает.
Завидую, кто крепко спит,
не видит снов,
и быстро пишет,
и ничего кругом не слышит,
не видит ничего кругом,
а если видит,
если слышит,
то все же пишет о другом,
не думая,
а что же значит,
что за стеною кто-то плачет.

Как я завидую ему,
его уму,
его отваге,
его перу,
его бумаге,
чернильнице,
карандашу!

А я так медленно пишу,
как ношу трудную ношу,
как землю черную пашу,
как в стекла зимние дышу –
дышу, дышу
и вдруг
оттаиваю круг.

Воспоминанье о дождевых каплях

Дождь проникал к нам запросто
сквозь дырявую крышу,
потолки протекали,
на них выступали желтые пятна,
кусочки извести падали на пол,
а на полу стояли корыта,
ведра, тазы, кастрюли,
и за ночь,
если дождь шел ночью,
они наполнялись мягкой
дождевою водой.

Кап, кап, кап...

Впрочем,
меня это занимало
мало.

Детский мой сон был крепок,
звуки паденья капель
мне не мешали.

Я вижу отчетливо комнату,
эти кастрюли и ведра,
расставленные в странном порядке,
как шахматные фигуры
в этой игре с дождем,
вижу паденье капель,
круги на воде

и маленькие воронки,
но, как ни стараюсь,
не слышу звука –
словно в немом кинофильме.
– Звук! – я кричу,
– звук!
И он догоняет меня,
звук пролетевшего самолета,
назойливый стук метронома,
колокол,
частые взрывы –
аж лопаются перепонки –
кап, кап, кап...

Как показать зиму

...но вот зима,
и чтобы ясно было,
что происходит действие зимой,
я покажу,
как женщина купила
на рынке елку
и несет домой,
и вздрагивает елочкино тело
у женщины над худеньким плечом.
Но женщина тут, впрочем,
ни при чем.
Здесь речь о елке.
В ней-то все и дело.
Итак,
я покажу сперва балкон,
где мы увидим елочку стоящей
как бы в преддверье
жизни предстоящей,
всю в ожиданье близких перемен.
Затем я покажу ее в один
из вечеров
рождественской недели,
всю в блеске мишуры и канители,
как бы в полете всю,
и при свечах.

И наконец,
я покажу вам двор,
где мы увидим елочку лежащей
среди метели,
медленно кружащей
в глухом прямоугольнике двора.
Безлюдный двор
и елка на снегу
точней, чем календарь, нам обозначат,
что минул год,
что следующий начат.
Что за нелепой разной кутерьмой,
ах, боже мой,
как время пролетело.
Что день хоть и длинней, да холодней.
Что женщина...
Но речь тут не о ней.
Здесь речь о елке.
В ней-то все и дело.

Диалог у новогодней елки

– Что происходит на свете? – А просто зима.

– Просто зима, полагаете вы? – Полагаю.

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.

– Что же за всем этим будет? – А будет январь.

– Будет январь, вы считаете? – Да, я считаю.

Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.

– Чем же все это окончится? – Будет апрель.

– Будет апрель, вы уверены? – Да, я уверен.

Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

– Что же из этого следует? – Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.

– Вы полагаете, все это будет носиться?

– Я полагаю, что все это следует шить.

– Следует шить, ибо сколько вьюгэ ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.

– Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!

– Месяц серебряный, шар со свечою внутри,
и карнавальные маски – по кругу, по кругу!
– Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и – раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..

Воспоминанье о скрипке

Откуда-то из детства
бумажным корабликом,
запахом хвойной ветки,
рядом со словом полька
или фольга,
вдруг выплывает
странное это слово,
шершавое и смолистое –
канифоль.

Бумажный кораблик,
елочная игрушка,
скрипочка,
скрипка.

Шумные инструменты моего детства –
деревянные ложки,
бутылки,
а также гребенки,
обернутые папиросной бумагой, –
это называлось тогда шумовым оркестром,
и были там свои гении и таланты,
извлекавшие из всего этого
звуки,
потрясавшие наши сердца.
Я играл на бутылках,
на деревянных ложках,

я был барабанщиком
в нашем отряде,
но откуда
это воспоминанье о скрипке,
это шершавое
ощущенье смычка,
это воспоминанье
о чем-то,
что не случилось?

«Была зима, как снежный перевал...»

Была зима, как снежный перевал,
с дымком жилья, затерянным в провале.

Но я в ту пору не подозревал,
что я застрял на этом перевале.

Была такая длинная зима,
когда любой вечернею порою
уже легко – сойтись горе с горою
и очень трудно не сойти с ума.

Была зима,
и загородный дом,
где в сумерках мерцает телевизор
и где гудит огонь,
бросая вызов
метелям,
снегопадам,
январю –
всему, что нам на головы свергалось.

Дни прибывали
по календарю.

К пяти часам у нас уже смеркалось.

Когда в окно вползала чернота
и все предметы делались иными,
я видел,

как подводится черта
под нашими усилиями дневными,

под нашей каждодневною тщетою.
А ниже,
оставаясь за чертой,
тянулась цепь таинственных пометок,
и лес напоминал строением клеток
и всей своею сущностью прямой,
что он не только современник мой,
но и другого века однолесток,
и он другие помнит времена.
Графический рисунок голых веток
напоминал при этом письма
давно существовавшего народа.
А я еще задач такого рода
не знал,
я перед ними пасовал
и то и дело путался в ответах.
Да и мороз к тому же рисовал
на стеклах непонятные узоры
и всякие загадывал загадки,
которых я разгадывать не мог,
хотя и упражнялся регулярно.
А утром снова
тоненький дымок
стоял над крышей перпендикулярно,
и даль передо мной была бела,
и жизнь моя передо мной была
как на ладони вся,
как на экране,
и можно было с легкою душой

перечеркнуть написанное ране,
переписать строку или главу,
которая лишь сдавленно звучала,
перемарать постылый черновик,
и даже сжечь,
и все начать сначала.

Сон о дороге

И еще такой я видел сон.
Люди,
их несметное количество,
все, кто жил на свете до меня,
двести поколений человечества,
в отблесках закатного огня
по дороге
шли
мимо меня.

Люди эти, малы и велики,
выходя из тьмы своих веков,
на себе несли своих богов
темные таинственные лики,
свои стяги
и свои вериги,
груз венков своих,
своих оков,
книги своих пастырей
и книги
вольнодумцев и еретиков,
древние орудия познания,
множество орудий для дознания
и для целей всяческих других,
чаши для куренья фимиама –
словом, все,

с чем шла когда-то драма
их страстей
и верований их.

Как ее разрозненные звенья,
времена смешав и поколенья,
шли передо мною Брут и Цезарь
и Марат с Шарлоттою Корде,
армии афинян и троянцев,
якобинцев
и преторианцев,

Азия бок о бок и Европа,
вперемежку Рим и Карфаген.
И почтенный киник из Синопа,
седовласый старец Диоген,
выступив на миг из полумрака,
поднял свой фонарик над собою
и сказал мне строго:

— Для чего! —

И подобно греческому хору,
тысячи людей одновременно
выдохнули разом:

— Для чего! —

Кто-то рявкнул басом:

— Ты ответишь! —

И шепнули рядом:

— Ты все скажешь!

Ты нам головой своей ответишь,
если ты не скажешь —
для чего!.. —

Я хотел ответить,
я пытался,
я кричал,
но звук терялся где-то —
как всегда во сне бывает это,
вымолвить не мог я ничего.

А меж тем
поток уже кончался,
край его вдали обозначался,
и, венчая шествие, качался
одинокий факел позади.

И тогда
над темною дорогой,
где шаги едва уже звучали,
преисполнен гнева и печали,
трубный глас раздался:
— Проходи!!! —

И тогда пошел я вслед за ними,
как в конце военного парада
с площади уходят музыканты,
завершая шествие его.

А потом дорога опустела,
лишь трава
тревожно шелестела
и звезда полночная блестела,
грустно вопрошая:
— Для чего?

Тревожное отступление

Я выдохся. Кончился. Всё. Ни строки.

И так я, и этак – и всё не с руки.

Река замерзает, и ветер с реки.

Пора ледостава, и время беспития.

И в голову лезут одни пустяки.

Одни пустяки начинают меня

тревожить –

ну, скажем, вопросы величия,

забвенья и славы,

наличья врагов,

а то – еще лучше –

вопросы наличья

долгов перед кем-то и просто долгов,

а то еще – тоже –

вопрос безразличья

влиятельных критиков,

узких кругов,

от коих зависят вопросы величия,

а также вопросы наличья долгов.

Вот ход моих мыслей. Примерно таков.

Я выдохся. Кончился.

До неприличья,

до ужаса даже – пуста голова.

С трудом вспоминаю простые слова.

Совсем задыхаюсь от косноязычия.

Но после бессонницы ночь напролет,
когда уже, в лестничный глядя пролет,
решаю —
а что, если вниз головой? —
внезапно я звук различаю живой,
шуршанье и клекот,
как будто бы птичья
гортань прочищается. Тронулся лед!
И что-то случилось. Почти ничего.
Всего только дрогнули чаши весов.
И ключ повернулся. И щелкнул засов.
Но это,
возникнув бог весть из чего,
моих журавлей предвещало прилет.
(Вот тут и поди разберись, отчего,
откуда все это начало берет!)

Но клекот, шуршанье, и сдавленный зов,
и множество смутных еще голосов...
Да что же случилось? Пока ничего.
Но тронулся, тронулся, тронулся лед.
Теперь не пытайтесь тягаться со мной!
Нет, вам не подняться теперь до меня!
О господи, что ж это было со мной?
Неужто и впрямь начинали меня
серьезно тревожить вопросы величья,
забвенья и славы,
наличья врагов,
а то — еще лучше —
вопросы наличья —

ну, словом, весь этот набор пустяков?
Нет, дудки! Ищите себе дураков!
Моих журавлей начинается лёт!
И ветер охоты подул на листья,
и пороховницы мои не пусты,
и ход моих мыслей сегодня таков,
что впору с богами соседствовать мне!
Да что там – с богами! Я сам из богов!
Движеньё созвездий и ход облаков
решительно благоприятствуют мне.
И все-то мне на руку,
все мне с руки,
и все на мою только мельницу льет.
Так что же случилось?
Пока ничего.
Но тронулся, тронулся, тронулся лед.

Второе тревожное отступление

Ну вот и вернулись твои журавли.
И ветер охоты подул на листы.
И пороховницы твои не пусты.
Ну что же, прекрасно!

И ход твоих мыслей сегодня таков,
что можешь с богами соседствовать ты.
Да что там – с богами! Ты сам из богов!
Ну что же, возможно.

А все же давай разберемся сперва –
с чего закружилась твоя голова?
Всего-то с того, что умеешь слова
писать на бумаге?

Что можешь придать им порядок такой,
чтоб строки стояли строка над строкой
и чтобы одна отвечала другой
своим окончанием?

Что вместо, к примеру, весна и сосна
ты нынче рифмуешь весна и весла –
и в этом ты зришь своего ремесла
прогресс несомненный,

как если бы рифма весна и весла
уменьшила в мире количество зла,
хотя б одного человека спасла
от пули, от петли?

А ты не подумал, садясь за стихи,
что, может быть, это и есть пустяки –
уменье писать на бумаге стихи,
стихи на бумаге?

И разве тебе не казалось порой,
что ты занимаешься детской игрой,
в бирюльки играешь во время чумы,
во время пожара?

Что все эти рифмы – безделица, вздор,
бубенчики на шутовском колпаке,
мальчишки, бегущие с криками вдоль
рядов похоронных?

Ну что ж, опровергни, отбрось, отмети
все знаки вопроса один за другим,
предай осмеянную, сотри в порошок,
чтоб камня на камне...

А все же ты должен пройти этот круг
сомнений, неверья, опущенных рук,
пускай не сегодня, не сразу, не вдруг,
а все же, а все же...

Время раскрывающихся листьев. Фрагменты сценария

Клавиши рояля, чей-то палец,
пробежавший по клавиатуре,
и сейчас же тысячи сосулек
с грохотом летят на тротуар.
Человек сидит в весеннем сквере,
в сквере,
где сейчас творится чудо,
чудо непрерывности творенья,
сотворенья ветки и куста,
чудо воссоздания,
повторенья,
завершенья круга,
воскрешенья
линий изначального рисунка,
формы прошлогоднего листа.
Человек сидит в весеннем сквере,
в сквере,
переполненном грачами,
их высокомерными речами,
вздорностью грачиных пересуд.
Черные пасхальные старухи
с древними рублевскими очами
белые платочки с куличами

мимо сквера бережно несут.
Человек сидит в весеннем сквере,
улыбаясь грусти безотчетной,
смотрит,
как в песке играют дети,
хлебцы выпекают на доске,
как они песок упрямо роют,
на песке
песочный домик строят,
крепость воздвигают на песке.
А весенний гром,
еще несмелый,
первый,
еще робкий,
неумелый,
тихо погромыхивает где-то,
громыхает,
душу веселит.
А весенний дождик все смывает,
облегчает,
очищает душу,
обещает радужное что-то,
что-то неизвестное сулит,
что-то позабывшееся будит –
что-то будет,
что-то еще будет,
что-то еще здесь произойдет.
И тогда в дожде,
как наважденье,

возникает давнее виденье –
женщины забытые глаза,
два бездонных,
два бессонных круга,
и сквозь них,
сквозь дождь,
неторопливо –
человек по улице идет,
и навстречу женщина идет,
и они
увидели
друг друга.

Воспоминание о шарманке

В высоком и тесном дворе,
как в глубоком колодце,
на дне
появлялся шарманщик,
появлялась шарманка,
появлялся мотивчик,
наивный и грустный,
и тогда открывались окошки,
и двор оживал,
и в окне проступало лицо,
проступала рука,
проступала ладонь под щекой,
из окна вылетала монетка,
завернутая в бумажку,
и летела на дно колодца —
летела копейка,
летела слезинка,
летела улыбка,
летела ромашка,
летела синица,
жар-птица,
райская птица,
ах, спасибо, шарманщик!
Но кончался мотивчик,
уплывала шарманка,

удалялся шарманщик,
унося в кармане копейку,
слезинку,
улыбку,
ромашку,
синицу,
жар-птицу,
райскую птицу,
и колодец двора
наполнялся,
как дождевою водой,
тишиной,
и она
расходилась кругами,
расходилась
кругами,
расходилась
кругами...

«Еще апрель таился у запруд...»

Еще апрель таился у запруд,
еще была пуста его купель,
а он не почитал уже за труд
усилья капель
складывать в капель —
в копилку,
по копеечке,
копил,
как скряга,
а потом на эту медь
себе рубаху синюю купил —
ни мне, ни вам подобной не иметь.
В рубахе синей,
конопат и рыж,
пустился в пляс,
как молодой цыган,
и все сосульки,
виснувшие с крыш,
запели,
как серебряный орган.
И тут уже поехало,
пошло,
а на вторые или третьи сутки,
в один из этих дней,
произошло

самоубийство мартовской сосульки,
которая,
отчаявшись,
упала
с карниза
и покончила с собой,
чего никто, конечно,
не заметил.

Апрель был юн,
он весел был и светел
и щеголял
в своей рубахе синей,
которая казалась голубой.

Птицы

Когда снега земли и неба
в окне смешались заодно,
я раскрошил краюшку хлеба
и бросил птицам за окно.

Едва во сне, как в черной яме,
рассвет коснулся век моих,
я был разбужен воробьями,
случайной трапезою их.

Они так весело стучали
о подоконник жестяной,
что показалось мне вначале,
что это дождик за стеной.

Потом их стук о подоконник
родил уверенность во мне,
что по дороге скачет конник
морозной ночью при луне.

Что это кто-то,
по ошибке
встав среди ночи, второпях
строчит на пишущей машинке
смешной рассказ о воробьях.

А птицы шумно пировали
и, явный чувствуя подъем,
картины эти рисовали
в воображении моем.

Как будто впрямь благодарили
меня за что-то воробьи,
они на память мне дарили
произведения свои.

Они давали безвозмездно,
а не за пищу и за кров,
по праву бедных и безвестных
и все же гордых мастеров.

Они творили, словно пели,
и, так возвышенно творя,
нарисовали звук капли
среди зимы и января.

И был отчетливый рисунок
в моем рассветном полусне —
как будто капало с сосулек
и дело двигалось к весне.

Человек с транзисторным приемником

Вы еще привыкнете к нему,
к этому звучанию резковатому!..
Человек идет по эскалатору.
Он стоит от вас невядалеке.
Ящичек свистящий и грохочущий,
ящичек поющий и хохочущий
держит, как воробушка, в руке.
Он таскает ящичек по городу,
по бульварам бродит
да по скверикам.
К морю выйдет –
ходит по-над берегом,
собственной музыкой томим.
Кто ж он,
этот странник,
очарованный
ящичком играющим своим?
Эту вещь, недавно уникальную,
хитрую шкатулку музыкальную,
на себе несет он, как печать
времени,
которое молчать
разучилось,

да и не желает.

– Эй, – ему кричат, – убавьте звук!

– Сделайте, – кричат ему, – потише!

Прекратите шум!.. –

Да вот поди же,

шум не прекращается никак.

Спящие в домах раздражены.

Сколько раз его ни унимали –

всяческие меры принимали –

так и не добились тишины.

Продолжает ящичек звучать –

петь,

кричать

и всякое другое.

Потому что время не такое –

не такое время,

чтоб молчать!

Воспоминанье о санках

Мама везет меня куда-то
на санках,
нас обгоняет извозчик,
а мне, должно быть,
года четыре,
и мама идет впереди,
а я смотрю в ее спину,
установился в одну точку
и думаю о чем-то.
— О чем ты там думаешь, мальчик? —
говорю я ему,
сидящему в санках.
Я хочу забежать вперед,
заглянуть в глаза
и сказать ему что-то,
предупредить его, что ли, о чем-то,
предостеречь
от каких-то опасных поступков,
но санки
все дальше и дальше,
все гуще падает снег,
и вот уже санки пропали из виду,
и на снегу остается
лишь след
их узких полозьев,

а потом и его замечает
снегом.

Как показать весну

Я так хочу изобразить весну.

Окно открою

и воды плесну

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.